

Лихоносова надо читать нараспев.

«Ласково-летний» – его выражение, простое, но уводящее в сказку. Россия Лихоносова всегда ласково-летняя.

Вместе с тем по интонации и той манере изложения от первого лица, когда важнее всего подтекст, внутренний изящный сюжет, это, пожалуй, очень европейская, не самая типичная для нас проза.

Если среди литераторов его поколения и «патриотического круга» особенно сильна тоска по близкому и знакомому Союзу, Лихоносов с начала 60-х и по сию пору незлобиво, но упрямо верен предыдущей России, ее еще называют исторической, от которой почти и следа нет.

Он, словно медиум, общается с ее духом, и сама его литература, если читать хоть полчаса, внимательно и не отрываясь, вводит в странный потусторонний транс.

Эти страницы словно бы пересыпаны серебристой пылью дороги, по которой проскакал казачий разъезд и сгинул в утреннем тумане.

Но пыль помнит. Легкая светлая память о том, что когда-то было так горячо.

Есть ощущение, что тайна долголетия и молодцеватости Лихоносова – в особой изначальной тяге к старине и старикам.

Да, в его молодой и зрелой прозе всегда много стариков, через которых он пытался нащупать образ былого, а в ровесниках высматривал черты их предков, а теперь грустит, что люди и вовсе «переродились».

Так, о трогательных стариках – дебютный новомирский рассказ «Брянские», который «светится», по выражению Твардовского. А в эпопее «Наш маленький Париж» (где перемешаны казачьи голоса, документы, письма, пейзажи, лирические отступления и упразднены условности романного канона) – главный поводырь в таинственное прошлое слепой старец-станичник с палочкой.

Один из сюжетов лихоносовской судьбы – странствие. Родители бежали из голодного воронежского села в Донбасс, затем в Сибирь. Выросший на Оби, он перебрался на Кубань. И опыт этот как будто дал ему тихую силу собирать русских людей, оказавшихся в рассеянии.

Какая-то медиумическая отзывчивость, настроенность на душевный резонанс, которая позволяет милосердно, летне-ласково обнимать просторы и всех своих. Другьям он говорит: «Далеко вы порою бывали, но с утра до вечера жили со мной на русской земле, где дышали и думали».

Это из повести «Люблю тебя светло».

Три слова, быть может, главные для его литературы.

Отзывчивость не просто всероссийская, а общерусская, недаром с надеждой ответили на его нежный зов последние старцы литературного зарубежья – Борис Зайцев и Георгий Адамович, хвалившие за отсутствие фальши и природную естественность. И заволновались, посылая советскому писателю сердечные весточки, доживавшие свой век на чужбине казаки...

Переключка, перезвон русских голосов – тоже заслуга Лихоносова. Теми же словами, что и эмигранты, о шемящей грусти его прозы заговорили и по нашу сторону границы Юрий Казаков и Валентин Распутин.

Говорят, решившись писать свою главную книгу, он удалился из мира на десять лет, назанимая у кого мог денег. Получив Госпремию РСФСР, всю ее раздал, возвращая долги.

А вот свежее 2021 года письмо Виктора Ивановича краснодарскому губернатору: «Как и к прежним юбилеям, не выйдет из печати ни одной моей книги. Вместо них будет скороспешно провозглашено в красных телеграммах, что я являюсь “гордостью культуры” и внес “выдающийся вклад в...” то-то и то-то. И уже тридцать лет признается только моя фамилия, а труды мои кажутся необязательными, не весьма нужными. Но перед юбилеем (возможно, последним) я думаю не о просьбе насчет издания книг. Меня беспокоит сохранность и наследование моих домашних архивов...»

«Необязательность» – меткое слово. Похвала себе.

В торопливых глазах многих эта плавная и неброская, ненавязчивая проза проиграет не только ловким современным сочинениям, но и, допустим, каким-нибудь хлестким скетчам и панчам из телеграм-каналов. И вроде бы все меньше тех, кто хочет глубоко читать Лихоносова, а еще можно назвать десятки значимых затененных писательских имен... Но проза эта по каким-то загадочным законам, верю, останется и переживет нас, в то время как упражнения стольких актуальных острословов, помножившись, на следующее утро превращаются в ноль, оставляя лишь дурное послевкусие.

Мы идем с ним по пригретой дороге. Высокий и прямой, он летит, постукивая своей палочкой. Степь пахнет горьковато-сладко, и голос его такой же – надтреснутый и хриплый, но добрый и тягучий. На груди у него большой фотоаппарат, на который он, зажав палочку коленями, снимает в домашний альбом друзей и первых встречных, кур, собак, небо, метелки ковыля...

Он говорит что-то простодушное, настоящее, и я заглядываю в его лицо, желая запомнить навек эту зачарованную полуулыбку, седую подкову усов, эти синие сощуренные глаза и косую морщину на переносице, как от удара клинком.

– Вы родились в Сибири, а перебрались на Кубань.

– Я и матушку перевез...

– А если бы не переехали...

– Если бы я жил в Новосибирске, я бы написал «Наш большой Харбин» (*Смеется.*) В общем, люблю Харбин.



Как всегда, я люблю то, где не бывал никогда. У меня дядя туда входил с войсками в 1945 году. Видел наших эмигрантов там. Я помню, как он привез матушке китайские платочки и блузочки шелковые.

– Русская эмиграция, в том числе казачья, тепло приняла ваш роман о Екатеринодаре. А на нашей земле вы застали тех, кого можно отнести к исконному казачеству?

– Да, я застал тех, которые называются «рэпаний казак», то есть настоящий.

– Кондовый, старый...

– Да, да... Это последние были. Вот когда роман вышел, уже почти никого из них не было.

– «Мой маленький Париж» начинается с того, что к вам из отдаленной станицы все время приходит полуслепой старичок, которому девяносто пять лет, и рассказывает новые и новые подробности казачьего быта. Он существовал?

– Да, конечно же. Нашелся такой старик, и я ходил не только в архив, но и вслед за ним по дворам и станицам и выпытывал. Это были те, у которых сохранялись еще вековые понятия, да, вековые понятия...

Он был для меня главным откровением, мой Попсуйшапка, мой старичок, Василий Афанасьевич. Он родился еще при Александре III, а в газетах можно было прочитать, что еще жив человек, который видел Наполеона. Вот в чем смысл моего романа! О протекании века человеческого.

Он меня просто интонацией взял, натурой своей. И я сразу потонул в той старине. Он чем поражал: он придет к нам, жена моя начнет его кормить. «Ложка... Вот такая ложка у моего тестя Ревенка была!..» Или: «Масло, ну масло. А моя мать как вот спустится в погреб, да достанет масло, так я б того масла и сейчас съел».

Он умер в один день с Шолоховым, в 1984 году, на 102-м году жизни. Собственно, я думаю, что если бы его не было, то не было бы и у меня такого вдохновения и такого сказочного удивления об этом исчезнувшем бытии, об этой старине, об этом городе, об этой загадке.

– Но если бы и не Шолохов...

– Да, вы знаете. Шолохов – это то, с чего все началось. Пробуждение, будем так говорить, литературной души. Без его совета вряд ли бы и поехал в кубанскую станицу. Это его звезда, Шолохова, притянула меня к старикам, о которых мой первый рассказ, и милосердная глубина «Тихого Дона» помогала роману о казаках.

Я писал о том, что уже все забыли фактически. Одни забыли, потому что просто молчали, другие забыли от разочарования, что некому рассказывать об этом, никому это не нужно.

А после, когда понадевали черески и вроде бы стали возрождаться с пылом, уже той опоры, какую даже я имел, не имели, потому что умерли знающие люди.

Самый большой недостаток и печаль в том, что сейчас уже не могут поклониться родной старине так, как надо бы поклониться.

Да, в крайнем случае кто-то еще способен поклониться горю коллективизации, когда по лопухам умирали и ссылали в Сибирь. Наши геологи были где-то в Саянах, вышел из лесу изможденный человек, говорит: «А я Литвиненко, станица Пашковская. Когда будете там, передайте, что видели меня...» А есть фотография, он сидит на коне, гвардеец, конвой его величества. Породу перевели...

Мой поклон среди прочих графу Феликсу Николаевичу Сумарокову-Эльстону. Знаете такого? Наказной атаман Кубанского казачьего войска. Я в его имении жил, начинал свою педагогическую деятельность. Вот это величина. А как сейчас относятся к слишком многим, называющим себя казаками?

– Порой насмешливо.

– Раз над тобой посмеиваются или недоверчиво смотрят, говорят «ряженный», надо самому преобразиться. Так, чтобы, когда один даже казак входит в трамвай, все чувствовали, что это вошел другой человек. Какой-то подтянутый, серьезный, вежливый, благородный. Такой, какими были офицеры, служившие у государя императора. Когда офицер шел, все оглядывались на него, ну, особенно молодежь. И вот надо было с этого настроения начинать попытки возрождения и с поклонов предкам.

Ведь изумительны их ушедшие образы, та канувшая навсегда Россия, и дворянская, и священническая, и купеческая, и простонародная, и воинская...

Солоухин мне говорил: «Нет уже русского народа». Это не значит, что нет уже правда русского народа, – есть. Но я понимаю, о чем он говорил. Современный наш человек и на Кубани, и везде немножко переродившийся.

В том самом менталитете – не люблю это слово, – который существовал веками, кое-что жутко потеряно. Тот же московский распев, который был у Бориса Зайцева. В 67-м Юрий Казаков побывал у него в Париже, а потом включал мне магнитофонную запись. Это не театральный колорит, как кто-то решит, нет, это больше.

Надо бы понять, что не только писателю нужно волшебное чувство загадки и близости к древности нашей русской, но и... Да всем это нужно. Чувство, чисто поэтическое даже, к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Шолохову и казачьим героям, гвардейским, георгиевским кавалерам, наказным атаманам...

– Поэтическое чувство – это же про вашу прозу.

– Это от матери. Я не знаю, дорогой Сережа... Я вообще, наверное, потому и начал писать, что душа волновалась. Я не головой пишу.

– Вы себя перечитываете?

– Знаешь, вчера вдруг стал кое-что читать, как впервые, и чувствую: действительно, музыка есть. А я забыл этот текст уже. Некоторые, вот Евгений Носов, напишут – и чуть ли не весь текст в уме, и помнит все. А я когда нахожу свое написанное, дивлюсь: «Когда, как это я писал? Я бы так не написал». Вот

это плетение, какие-то душевные аккорды, все идет нечаянно. И если ты их не записал, ты восстановить не можешь, не можешь...

Смысл общий ты помнишь, но если этот же текст ты захочешь воспроизвести, это уже будет другой текст. Это не значит, что я совсем безумный, – нет, конечно, не совсем, но как-то вот так. *(Смеется.)*

– **О чем вспоминается? Что пишется?**

– О матери. Ну я как-то знаешь, Сереж, тяну, боюсь расстаться с тем, чем я живу, понимаешь? Мне так жалко дописывать, потому что я расстанусь, и тогда будет мне совсем плохо без матери, о которой пишу. Не просто о матери – о нашей жизни, о том, как жизнь прошла, как прошла жизнь...

– **А родители кем были?**

– Отец железнодорожником был, погиб на фронте, а мать малограмотной, козову держала, вот и все. Перед смертью она сказала: «Умру, так напишите на доске, что я “мать писателя”». Так и написано.

Я приехал в ее деревню Елизаветино, и ночью где-то у Осыкина пруда включил диктофон с ее голосом, и слушал ее рассказы о пережитом.

У меня повесть про мать и про послевоенную жизнь «На долгую память». У Твардовского есть запись: «Стал читать Лихоносова и до конца не мог оторваться. Какой молодец!» Он читал ту самую повесть, которую у него печатали под другим заголовком «На улице Широкой».

Для меня это удивление большое, я с большим смущением отношусь к таким похвалам.

Я не хочу называться писателем. Я все время нахожусь в роли студента того времени, когда начинал. Да, это не прошло до сих пор.

– **Твардовский напечатал и любил ваших «Брянских».**

– Вспоминаю его в «Новом мире», он выходит вместе с ответсеком Борисом Заксом, а я захожу. Они меня увидели и со мной возвращаются, Твардовский говорит: «Да вы снимайте пальто и бросайте на мое...» Говорим, и уютно, как в сельской избе, как дома...

Тот рассказ «Брянские» появился от переживаний, от впечатлительности, от того, что хотел как-то закрепить то, что так было дорого. Когда уехал от знакомых стариков, мне так стало их не хватать, так жалко, и я вот взял и всего на четыре странички написал. Фазиль Искандер потом говорит: «Это что, первый рассказ?» Я говорю: «Да».

А я любил очень Юрия Казакова. Я был студентом и его читал. И он же меня вытащил. Я написал ему и с каким-то трепетом послал три рассказа. А он был выпивающий человек, иногда рассеянный. Мог быть небрежным просто. И он так прилежно мне отвечал, неизвестному учителю из-под Анапы! Потом я уже поехал к нему в Тарусу, а потом так подружились.

– **Каким он был?**

– Ну как всегда бывает, ты представляешь его по прозе немножко нежнее и ласковее, да, благодуще... Ну грубоватый такой, тем более выпивал. Так: «Ш-ш-ш... Ш-ш-ш... Старичок, ты тут мне книг понадавал, чтоб я тебя, старик, проклинал! Знаешь, – и матерком еще так. – Ты мне больше не дари!» *(Смеется.)*

Так вот, это он меня сразу понес в журналы. И вдруг в ноябре месяце получаю телеграмму от Михаила Рощина из «Нового мира»: «Не прыгайте до потолка, рассказ “Брянские” стоит в II-м номере».

Я-то думаю, что если бы с самого начала, как у многих, были преткновенения какие-то, то, возможно, я бы просто смутился и не стал заниматься литературой. Несмотря на все мои чувства и впечатлительность, все могло бы потонуть. Просто я потом по жизни это знаю, как я смущался порой даже в присутствии самых серых людей. Которые умеют себя вести и подавать.

Господь Бог расположил, что я напечатался-то в «Новом мире», где был сразу окружен очень заметными людьми, и они меня понесли. Казаков, Домбровский...

А дальше, когда я написал «Люблю тебя светло», подсоединился и Белов. Понимаешь, да? Они как-то меня укрепили в том, что я не последний человек на земле.

Меня очень поддерживал Юрий Васильевич Бондарев. Когда меня начали ругать, заступался: «Он так видит». Я у него дома бывал, с Олегом Михайловым ездили. У Леонова я сидел, обедали, я его боялся. У меня даже есть письмо от Леонова про «Осень в Тамани».

И знаешь, я всю уже печатался и перестал учительствовать, но мне больше всего хотелось, чтобы меня считала писателем моя малограмотная матушка, Татьяна Андреевна. Я об этом пишу и вспоминаю: не то чтобы там хвасталась мною на каждом углу, а потихоньку радовала бы себя тем, что не зря после гибели отца на фронте так старалась поднять меня, выучить...

– Считается, что в «Люблю тебя светло» Домбровский запечатлен под именем Ярослава Юрьевича, пьющего, щедрого, талантливого, трагичного.

– Да, там много Домбровского. Даже его вдова Клара включила отрывок в книгу о нем. Но там и Казаков есть. Все-таки это их силуэты. Оттолкнувшись от друзей, я полетел...

Домбровского, конечно, вспоминаю. Открытый, добрейший, помню, в одних тапочках провожал меня на вокзал. Помнится, он горько плакал, когда умер Шукшин. В чем-то он был не от мира сего, но совсем не лунатик. Несмотря на свою ученость и книжность, очень жизненный, я бы сказал, сочный человек, прекрасно и точно говорил и писал, всегда чувствовал правду. 0 годах в лагерях он говорил как-то эпически.

– К вашим книгам писали послесловия Распутин и Астафьев.

– Я никогда не забуду, молодость, общезитие, мы сидим, болтаем, Славка Шугаев блажит, а Валя Распутин у батареи скромно, как какой-то плохой начинающий писатель, сидит и молчит. И я потом осознал: это не только писатель хороший, это великий человек...

С Астафьевым все разладилось в 93-м году, когда он подписал «Письмо со-рока двух» в поддержку расстрела. В это время, в 20-х числах октября, хитрый Кремль организовал поездку по Средиземному морю русской интеллигенции: артисты, оркестр, писатели... Залыгин составлял списки, мы с Витей Потаниным едем поездом до Одессы, и я говорю: «Вить, а я к Астафьеву не буду подходить». И не подходил. Приехали в Одессу, погрузились на пароход, переночевали, проснулись, уже входим в Босфор, все вывалили на палубу, и только там первый раз поздоровались, и все. А потом, когда у него наступило семидесятилетие, в 1994 году, 1 мая я ему написал открытку: «Виктор Петрович, вернись к старым друзьям». Я ему не говорил про политику ничего. Потом меня звали в Овсянку... Но я не поехал. Я как-то ему в душе этого всего не прощал...

Валя Распутин более к нему отнесся православно, может, и правильно...

– Расскажите о Шолохове.

– Первым к нему поехал Назаров Юра, народный артист, мой друг. Мы в Новосибирске жили, в одной школе учились, в одном драмкружке вместе в пьесах играли. Он поступил в театральный, а я нет, слава Богу. Я теперь говорю: «Господи, спасибо тебе, что ты не сделал меня артистом, спасибо тебе!» (Смеется.) Мы с ним просто боготворили Шолохова. Мы просыпались: Шолохов на земле есть...

Так же я и Бунина любил очень сильно. Я думаю, что сейчас вот такого обожествления кого-то нет.

Однажды я ехал по Кубани и в Миллерово вдруг сошел... Тогда же автобусов не было, полуторки ходили открытые: лавочки, 150 верст под солнцем, бабы, мужики. «Я студент, я к Шолохову». – «Студента посадите там, студента посадите, к Шолохову!» Донцы, они очень разговорчивые. Всю дорогу трясло, мужик говорил, солнце очень сильно припекло, а когда приехали, надо было переправляться... Такой канатный паромчик-то у них, на веслах. Я переправился. Тогда хоть ты и чужой человек, тебя пускали сразу. Пришел в какой-то дом: «Вот я к Шолохову, пустите ночевать». Пустили, кормили, поили дня четыре, наверное. А я все боялся к нему прийти. Зеленый забор перегораживает улицу и такая маленькая почему-то калиточка. Я все боялся туда идти.

Наконец, толкнул, калитка открылась. Я иду, иду, иду, иду, смотрю – он стоит на крыльце. Простая рубаха, нос обгорелый после рыбалки. «Скорее, скорее, скорее», – он мне говорит.

А я заросший, стилига такой, у меня кудрявые-кудрявые волосы, загорелый совершенно, вообще забубенный какой-то парень. Ну и стал что-то бормотать. Он говорит приветливо, с юмором: «Ты свое что-нибудь пишешь? Нет? Ну и слава богу. Я бы тебя в колхоз послал, поработать». Простой и доступный...

– А Шукшина вы знали?

– Успел познакомиться. Я с ним разговаривал в «Нашем современнике». Стояли, курили. Родной, сердечный, задумчивый. Необычайно простой. В нем была необдуманная отзывчивость того поколения, тех, что жили душой. Если бы он еще сорок лет прожил, ну тридцать, это был бы самый большой писатель. И именно в год гибели он начинал так расти, он утончался душой. Все бы с него слиняло, кинематограф и все остальное, он вообще бы был как аристократ, тонкий. И вот гибель – это просто несчастье нашей жизни. Рубцов тоже на взлете умер.

– Ваш ответ с высоты лет: в России надо жить дольше?

– Детские мечты не покидают меня. Я начинаю про всех мечтать, сколько бы они прожили. Ну Пушкин, ну Господи, Пушкин, с ним можно просыпаться, засыпать и жалеть, что ему не было шестидесяти лет. Тютчев бы дожил до Александра III... Пушкину было бы слегка за восемьдесят, и он бы при Александре III жил. И Толстой был бы другим...

Тютчев мало прожил, шестьдесят девять. Чудный Лермонтов совсем ничего... Вот так как-то вот, сидишь дома, мечтаешь. Для России так важно было, чтобы они жили долго, а этого не случилось.

Какой поворот, а? А это так важно для России. Эта мысль вообще важна для России.

– «Наш маленький Париж» вышел в 1987-м. Можно сказать, выход книги – тоже результат коримой вами перестройки?

– Ну действительно... Уже была вольность тайная какая-то на закате советской власти. Ее первыми почувствовали, эту тайную вольность, либералы.

Когда в издательстве «Советский писатель» книга готовилась, то ребята заголовок перевернули. Сверху: «Ненаписанные воспоминания». «Старик, ну ты понимаешь, а что в ЦК скажут?» А на следующий год, когда переиздавали, название вернули, уже стали стропила рушиться.

А Видулов в «Нашем современнике» печататься побоялся. «Белогвардейская вещь». Зато потом меня поздравлял с государственной премией...

– Ваше мнение: можно было дать свободу литературе, но при этом не потерять государство?

– Можно. Задумано-то было иначе. Наболтались бы о Сталине да о советской власти, но недра должны быть народными, вот и все.

Советская власть, она какая была? Она тебя била, а второй рукой давала квартиру. Мне жить было можно и писать именно в советское время. Ну идеоло-

гия-то была жесткая, чего тут говорить, глупая порой. Но у меня нигде в моих книгах никаких фальшивых слов нет... «У вас ни одного слова фальшивого», – это Георгий Адамович.

– Да, отдельный сюжет: ваша переписка с последними могикианами русского литературного зарубежья: Адамович, Зайцев...

– Я взбегал на третий этаж с внутренним криком: «От Бориса Константиновича! От Георгия Викторовича!», и мне, получавшему письма из Парижа, казалось, что они приходят из царской Москвы. Эти письма здорово укрепляли и ободряли. Но в казачьем-то городе и некому было их показать.

Я не думал, что я что-то преступное совершаю, совершенно наивно и простодушно вел переписку. С книгами от них было непросто. Зайцев отправил мне своего «Чехова» с дарственной надписью – не дошло. А был такой Александр Сионский, упрямый враг советской власти, сын загубленного священника, мы вели переписку, и он отправил мне через редакцию «Нового мира» два тома «Жизни Пушкина», автор кадетка Ариадна Тыркова-Вильямс, изданных УМСА-Press, и я их получил.

Я мечтал увидеться с этими моими дальними читателями, перед которыми преклонялся, хоть вечер провести. Но меня и раз, и другой в Париж не пустили. Обида моя уцелела в тетради: «Давно не было мне так горько, как в эту осень 71-го года. Никто не объяснил мне, почему повис надо мной карающий меч».

– Кроме них, вы общались и с другими русскими эмигрантами.

– Я застал людей, которые вернулись на родину при Хрущеве. Они жили в Краснодаре, один жил в Ростове.

А еще Иоанн, архиепископ Сан-Францисский, он же князь Дмитрий Шаховской, писал о том, какое ему удовольствие доставила моя книжница. Между прочим, в честь него назван герой рассказа Бунина «Митина любовь».

А в 1990-м я поехал с другими авторами в Америку. Мне было дороже всего, что везде русские... В Ново-Дивееве я был на могилах Романа Гуля и Александры Львовны Толстой. В Сан-Франциско я встретил мощного кубанского казака! И там же, в «Русском доме», меня поразила «Доска печали». На ней мелом писали, кого не стало, имена недавно ушедших... Я бы хотел так назвать свою книгу «Доска печали». Пусть это будет моя прощальная поэма.

Там, пообщавшись с еще живыми, я записал себе: «Мы недостойны вас». Они не так, как мы, ходили в церковь, все время в храм, по-старинному все соблюдали. А мы вольные в этом смысле... Но потом я понял: они для меня были возвышающим обманом. Ибо потом, когда они стали сюда приезжать, я немножко разочаровался.

– Почему?

– Стало ясно, что слишком многие филологически абсолютно отстают от советского человека. Как те же американцы. В библиотеки не ходят, ничего не знают. Ужас, слушай! Мы ругали сами себя, но в чем-то настолько были выше, понимаешь? Насколько более литературным было советское общество... Но они выше нас в другом – дух, традиция, а мы отцов своих почему-то не жалели.

У меня накопилось полторы тысячи страниц уникальных невероятных воспоминаний кубанцев: о жизни, о быте, о странствиях, о войнах. «Заветная книга». Но ее не издадут, никому она не нужна – ни чиновникам, ни показательным предводителям нынешнего казачества...

– Вы верующий?

– Я вырос в верующей семье. Но бабушка больше, чем матушка моя, была поколеблена гибелью отца на фронте. Как часто бывает в простонародье, обида на Бога, на то, что не спас. Она впрямую полагала, что Господь Бог не пожалел. Но праздники соблюдали, Пасху, все... Молодым я был человеком рассеянным



и, как говорится, в храм только заходил. А у Гроба Господня мы были вместе с Солоухины, и я говорю: «Конечно, я не бабушка, конечно, я не бабушка...» При своих обидах на Бога она была к нему ближе. Та наивно народная, вера неграмотных выше веры грамотных. В силу какого-то поистине божеского, благоговящего, благодатного испуга. На этом держалась Русь. И вот так же, как теряем звуки, и аканье, и оканье, теряем наивность и простодушие, что грозит миру большими неприятностями. Грамота нивочтоневерения, понимаешь? Цинизма, а иногда просто заскорузлости...

Жили-то вроде сообща, но одиноко в деревне, все время под звездами, а не под звуками телевизора и лучами интернета. Звезды тоже способствовали этому одиночеству в мире.

Сейчас скорости... Еду, а все время вспоминаю, о боже, как Лев Николаевич ездил, мне жалко Льва Николаевича. Ну как трясло-то, грязь, колеса ломались. Но он ехал, и звезды были, остановки, вода ключевая. Какой-то старик вышел, поговорили... Вчера я ехал в поезде из Краснодара, ты знаешь, весь вагон молчит. И так уже давно. А ведь я застал времена, когда весь вагон говорил.

– **В гаджеты, в планшеты тыкаются.**

– Ага. И теряется простодушие. Даже простодушие сердечной тишины. Но самое главное – люди становятся абсолютно неинтересны друг другу. Человек, изображенный на экране, интереснее, чем живой человек. Потому такая литература. А речь какая была, боже мой!.. Поезжайте в Брянскую, Орловскую, Вологодскую область, какая речь! А в некоторых местах же особо. Вот донцы – это самый словоохотливый народ был, не остановишь...

– **Это печалит вас в сегодняшней России?**

– Это и то, чего не хватает руководителям, – родства со своей землей.

Такого глубокого родства, которого много у настоящих писателей к великим писателям. Владимир Мономах, Александр Невский, Алексей Михайлович – за государственным столом имена их должны звучать и витать почаше: 635 лет или там 450 со дня вступления государя или великого князя... И новости об этом должны выходить! И в этом нет даже национализма, преувеличения своего народа... Просто такое священное напоминание, от кого тебе все досталось, и что были, были люди, которые строили эту землю и защищали.

Информация сама по себе – ерунда. Она меньше всего помогает качественно составу человеческого существа. Она должна идти рядом с сопереживанием человека.

Я должен Владимира Мономаха чувствовать как своего человека. И вот я бы начитал Владимира Мономаха для молодых. «Поучение детям».

– **Хороший был бы подкаст.**

– Весь свод древних текстов. Я своим ученикам в школе читал древние летописи и жития. Какой изумительный напев... Говорил, полшутя: «Выучите отрывочек из “Повести временных лет”, я вам пятерку поставлю»...

Перед написанием «Осени в Тамани» я годами зачитывался летописями. Великие князья, монахи, летописцы – очень важно соотносить свое существование с их судьбами и деяниями.

Или я прочитал недавно воспоминания Михаила Петровича Погодина, друга Пушкина, историка нашего, о том, как русские моряки в 1856 году возвращались из Севастополя в Москву. После поражения... Какой чудный текст, родной! Вот это надо читать-то в связи с Крымом и без Крыма даже.

– **А какой он, русский характер?**

– Конечно, большинству русского народа свойственно необыкновенное простодушие... Простодушие изумительное, оно очаровывает. Кроме этого, оно предполагает необыкновенную искренность и правду. Мы говорим, как испор-

тился наш человек, но как он замечательно становится древним, когда начнутся бои. Ну а необыкновенная стойкость... Просто в нашем народе есть то, что в какой-то час пик вдруг замечательно проявляется, замечательно. Именно старорусское, нажитое веками. Может быть, мы тот народ и есть, который расслабляется, нехорошо даже расслабляется, а потом он так собирается, что становится могучим, и прекрасным, и золотым даже, вот в чем дело.

Неприятель недооценил русский характер. Солоневич пишет об этом: по литературе немцы судили о русском человеке. В этом, кстати, беда русской литературы, что и она недооценила Россию. Даже гении наши. Ну какой Евгений Онегин, какой Печорин, ребята, вы что вообще?.. Только что кончилась война с Наполеоном. В этом смысле я обожаю Константина Леонтьева. Вот если бы он написал «Войну и мир», это бы был самый русский роман. Но не написал, о чем больше всего в стране жалеет Лихоносов.

– **О чем вам чаще всего думается?**

– Я часто повторяю наизусть «Таню» Бунина. *(Декламирует, прикрыв глаза.)* «Она служила горничной у его родственницы, мелкой помещицы Казаковой, ей шел восемнадцатый год, она была невелика ростом, что особенно было заметно, когда она, мягко виляя юбкой и слегка подняв под кофточкой маленькие груди, ходила босая или, зимой, в валенках...»

– **У вас прекрасная память.**

– Не ждать ни сюжетов, ни проблем. Ничего этого не нужно. О спинах говорить, о калошах надо писать...

Лучше, чем жизнь, никто ничему не научит. Но есть сознание того, что вот они, кого ты читаешь, думали вот так же, как я вчера подумал. Он страдал, а больно-то ему как! – так же было...

По-моему, и простой читатель за это и любит, а не за сюжетные повороты какие-то. Главное – этот душевный отзвук, сочувствие таинственным переливам.

